

## ДВА РАССКАЗА

### РИТМИКА

Мы собирались в домовом клубе два или три раза в неделю, впрочем, счет дням тогда велся не на недели — пятидневки, шестидневки, теперь кажется, что собирались мы в клубе гораздо чаще — почти каждый день. Тогда была в моде ритмика, детище швейцарца Жак-Далькроза, мечтавшего с помощью системы гимнастических упражнений и физических занятий развивать слух и голос, музыкальное восприятие и музыкальную память, — тогда это очень шло к делу, к идее всеобщности, всехности: все движутся, разводят руками, нагибаются, приседают, все становятся певцами, музыкантами, исполнителями и композиторами, — долой исключительность! — непременно все.

Рядом с ритмикой жил в клубе шумовой оркестр — и мы все оркестранты! — теперь для потомков даже и не «звук пустой», просто ничто; а ведь сколько шума производили эти шумовые оркестры — имени, и то не осталось. Листаю энциклопедии — нет их, умерли, забыты, точно и не было, а ведь были, были, — мысль, что все возможно и доступно всем, тогда энергично в мозгах вращалась. В самом ли деле необходимо иметь какой-то особенный талант, нечто не всем равно данное, чтобы заниматься музыкой? И вот вам шумовой оркестр — барабаны, бубны, никелированные треугольники, на которых даже не слишком битый заяц научался выстукивать ритм, и главный инструмент — мирлитон (так запомнилось мне его имя, а в словарях не найти), красная деревянная трубочка со вделанной в нее пленкой, в трубочку не дули, а тихо гудели мотив, принцип создания музыки тот же, что у гребешка с приложенным к нему листком папиросной бумаги, такие гребешки в составе оркестра тоже были — для тех, кому не достался мирлитон.

Мы собирались в большом прохладном зале, заполненном светом, яростно врывающимся в помещение и справа и слева сквозь пять пар длинных, горизонтальных, словно положенных набок друг против друга, окон, наш шестиэтажный дом возвышался тогда над приземистыми строениями старинной улицы, за окнами и направо и налево раскинулось небо. Мы сбрасывали верхнюю одежду и оставались в майках-футболках, белых с голубым воротником и манжетами на рукавах, со шнуровкой на груди, в черных сатиновых трусах, и тут из-за кулис, из таинственной служебной комнаты, где в углу стояли свернутые флаги с сияющими копьевидными наконечниками, где на полу стояли три больших бюста — позолоченный, белый и черный, будто отливающий машинным маслом, где полки были заняты красными скатертями, графинами, пионерскими горнами, победными кубками физкультурников, бутафорскими предметами взрослой самодеятельности и куда вход нам был заказан, — оттуда, из волшебной служебной комнаты, появлялась миловидная, всегда ровно приветливая женщина Вера Николаевна — прямой правильный нос, правильные линии мягкого рта, светлые глаза, почти немигающие и холодновато-наивные; светлые волосы, которые для красоты слога можно бы окрестить гречишными, гладко зачесаны и собраны на затылке в большой пучок.

Вера Николаевна появлялась приветливая, яркий румянец — всегда будто только что с мороза, улыбчивая и отчасти даже возбужденная, и вместе с каким-то до самого дна проникавшим ее и распространявшимся вокруг уверенным спокойствием. В нас ее появление тотчас воспламеняло чувство первой неосознанной влюбленности, девочки жались к ее длинным ногам, обнимали их и терлись о них, мальчики, едва завидев ее, начинали орать, злобно бросаться друг на друга, попросту носиться, вытаращив глаза, от стенки к стенке, рискуя не рассчитать и разбиться в лепешку. Но Вера Николаевна, как бы не замечая ни наших ласк, ни безумства нашего, никаких иных усилий для установления порядка не прилагала, только хлопала несколько раз в ладоши и говорила звучно: «Встать в строй, товарищи, а ну, встать в строй!» И вот мы уже стоим по ранжиру и повторяем вслед за ней упражнения ритмики, которые она даже и не показывает, как бы только намечает с видимостью полной отдачи движению, но на самом-то деле лишь расчетливо точным его обозначением, а в углу бренчит на рояле (не на мирлитоне все же гудят) аккомпаниаторша, толстая, аляповато ярко одетая и ярко раскрашенная дама Мальвина, что само по себе смешно, а после вышедшей как раз в ту пору, жадно читаемой и перечитываемой книжки про Буратино и Золотой Ключик, уже немислимо смешно, и до того как Вера Николаевна возникнет на пороге служебной комнаты, мы крутимся вокруг рояля и распеваем: «Мальвина — душечка, Мальвина — красный помидор!» — это намек на ее толстые крашенные щеки, но она то ли не слышит, то ли не понимает, лишь вяло улыбается, пытаюсь урезонить нас, и басит: «Дети, хотите, я сыграю вам арию Гремина из оперы Чайковского “Евгений Онегин“?..» — где там «Мальвина — душечка!» — но раз, два, три звенят хлопки Веры Николаевны — и мы в строю, стараемся изо всех сил, разводим в стороны ручки, и нагибаемся, и приседаем, а ну, кто больше — раз и два и три... А впереди самое интересное — недаром, обтягивая картонную форму черной тканью, родители изготавливали мальчикам каскетки, высокие — кивером — фуражки, недаром сочиняли им из коленкора черные перчатки с крагами до локтей, недаром искали для них лягушачьи очки автомобилистов — «консервы», недаром девочкам шили тесные, уголок над переносицей шапочки из черной материи и ту же материю натягивали на проволочные каркасы, получая раздвоенные птичьи хвостики, — ритмика заканчивалась игрой «Автомобили и ласточки»: мальчики в каскетках, крагах и больших ветрозащитных очках-«консервах» были шоферы (тогда чаще произносили «шоффер», «шоффера»), мы мчались по залу на наших машинах — руки перед собой, как бы на руле, а стайка девочек-ласточек при нашем приближении перепархивала все дальше и дальше.

Где ты, чудо автомобиля! Вот уже и восьмилетний школьник, зажав в потной ручонке рублевку, ловит утром такси, чтобы не опоздать в свою отдаленную от дома спецшколу с преподаванием ряда предметов на иностранном языке. Он не поднимет голову, услышав в небе гул самолета, как я до сих пор поднимаю, не побежит, как мы в детстве бегали, на отстоящий так, казалось, далеко от снятой на лето хибарки-дачи откос, чтобы долго ждать и дождаться пробегающего внизу поезда и еще издали угадывать тип паровоза, каждый из которых имел еще и особенное прозвище; «Овечка», «Щука», «Сапожок» — иногда я вижу паровозы, проносясь мимо сортировочных и узловых станций; они стоят на запасных путях, полуразвалившиеся, с забитыми досками дверями и окнами, чтобы не пакостили в них случайные прохожие. А автомобиль — «форд» или газик с брезентовым верхом! Забраться в него — величайшее счастье. Отец моего друга детства, врач в ответственной поликлинике, назначенный дежурить на праздники, 7 Ноября или 1 Мая, берет на заднее сиденье нас, мальчуганов, отправляясь по вызовам на дом к важным своим пациентам, — какое украшение великого праздника! Или — счастливые будни: озабоченный комдив, заскочив под вечер домой пообедать, приказывает шоферу («шофферу») прокатить нас по двору, до ворот и обратно,

на открытом «линкольне» с никелированной собачкой, вытянувшейся в стремительном беге на пробке радиатора, — где ты, «линкольн», темно-синий, с кофейно-коричневой кожей подушек, где ты, худощавый комдив, с голубым, без кровинки лицом и рыжеватыми усиками под тонким нависшим носом?..

Но для нас и беготня на своих двоих, лишь бы руки перед собой, как бы сложенные на руле, — радость: мчимся по залу, очертя голову, гудим, тарыхтим губами: но «Автомобили и ласточки» не конец занятия, конец — это снова строй, и у каждого в руках барабан или бубен, или сверкающий треугольник, или, главное, мирлитон: мы превращались в шумовой оркестр и маршировали, выравнивая дыхание, вокруг зала, гудя и выстукивая «Наш паровоз, вперед лети», а потом «Турецкий марш» Моцарта.

В клубе, как водилось, был красный уголок — в точном значении слова, ныне утраченном: не комната с телевизором у стены, газетами и журналами на длинном столе посредине, а именно красный угол — угол, где некогда полагалось бы висеть иконам, теперь же на алом кумачовом полотнище, натянутом в деревянной багетовой рамке, здесь приклеены были портреты вождей — полтора-два десятка глянцевого черно-белых открыток-фотографий усатых по большей части (хотя и с бородами попадались, и вовсе с гладкими лицами) людей в гимнастерках, френчах, пиджаках поверх сорочек или косovorоток, имена их были на слуху, и мы, дети, каждого знали в лицо — вожди!..

Но вот что-то происходить стало с нашими вождями, имена, величественные и незабываемые, стали произноситься осудительно, а чаще вовсе не произноситься, школьная учительница командовала заклеить в учебнике портрет на странице такой-то, зачеркнуть фамилию, да чтоб не видно было, помойки по утрам заполнены были книгами, открытками, картинками с теми же портретами, и наша Вера Николаевна время от времени в конце занятий, когда «Турецкий марш» был уже исполнен, оставляла нас стоять в молчаливом, всеми детскими потрохами чувствующем ответственность момента строю, сама же, твердо ступая длинными ногами, направлялась к полотнищу красного уголка, сдирала одну из открыток-фотографий и возвращалась к нам, и когда она снова оказывалась перед строем, в руке у нее была сковородка на длинной деревянной ручке и коробок спичек. Стараясь придать более жесткости линии рта, она, не показывая нам лица фотографии, комкала ее, бросала на сковородку, чиркала спичкой и минуту-другую стояла перед строем, держа в вытянутой вперед руке сковородку, над которой поднимался синеватый дымок. «Все, товарищи, — говорила она. — Разойдись!» И мы расходились, понуро (в течение тех нескольких минут, пока детская радость непрерывного постижения жизни не возобладает в нас) и не ласться к ней. На красном полотнище в углу оставалась прямоугольная белая каемка засохшего клея, а когда мы шумно сбегали вниз по лестнице с шестого — клубного — этажа, навстречу нам взбирались наши родители: тогда повсеместно шло всеобщее обучение западным танцам, и те, кому завтра предстояло превратиться в пустую каемочку без имени и лица, старательно учились выделывать ногами па фокстрота, румбы и вальса-бостона «Монтерей» и «Под крышами Парижа».

## КОМДИВ

Комдив, как говорилось, был худощав, лицом бледен, под тонким нависшим носом щетинились узкие рыжеватые усики. Наверно, в гражданскую он мчался впереди всех на взмыленном вороном коне (верхом я комдива никогда не видел, но, слушая рассказы его сына Бори, похожие на сцены из кинофильмов, которые мы жадно, не насыщаясь, смотрели бесчисленно раз, я почему-то был убежден, что конь у нашего комдива не белый, не гнедой и не какой еще, а непременно воро-

ной), наверно, в гражданскую комдив мчался впереди всех на своем вороном коне, кричал «За революцию!» или еще что-то, что переполняло его, того более, составляло само его существо и рвалось наружу, чтобы принадлежать всем, всех увлечь, стать существом всех мчащихся следом людей, — «За революцию!», наверно, кричал комдив и, ворвавшись во вражеские цепи, приподнимался на стременах, изгибал, как бы зависая в воздухе, свое узкое, легкое тело, взмахивал сверкающей шашкой и на полном скаку наносил быстрый с оттяжкой удар. Когда комдив поселился в нашем дворе, он ездил на «линкольне», великолепном темно-синем «линкольне», с откидывающимся брезентовым верхом и никелированной собачкой, вытянувшейся в стремительном беге на пробке радиатора.

Нам не случалось наблюдать, как комдив уезжает на работу или возвращается с работы домой, но под вечер «линкольн» обыкновенно привозил его обедать — в эти-то полчаса-час комдивов шофер, которого сам комдив, а за ним остальные, и мы, ребята со двора тоже, звали «Егорыч», в эти-то полчаса Егорыч по распоряжению (или, может быть, по разрешению) комдива катал нас, детвору, на машине...

Прежде чем вылезти из машины, комдив, бывало, чуть наклонится к Егорычу, почти не разжимая тонких, серых губ, выпустит неслышное нам короткое словцо, — «Велел!» — с замиранием сердца угадываем мы (сбившись в кучку, мы нетерпеливо топчемся напротив подъезда у песочницы для малышей, ждем заветного слова), комдив быстрым шагом уходит в гулкую темноту подъезда. Егорыч еще минуту, которая кажется нам нестерпимо долгой, вечностью кажется, томит нас неподвижностью и молчанием, наконец кивает головой: «Налетай!» — мы, отталкивая один другого, наперегонки бросаемся к автомобилю. Ноги оботрите как следует), — ворчливо приказывает Егорыч — где там! Шаркаем для виду подошвами по асфальту, торопясь втиснуться поскорее в мягкое, обтянутое кофейно-коричневой кожей блаженство: автомобиль плавно трогает с места, проезжает сотню метров по нашему двору, заставленному серыми коробками жилых корпусов, разворачивается и движется обратно к комдивову подъезду. Но иногда Егорыч, по собственной ли охоте или с благословения начальства, позволяет себе вольность: мы выезжаем из ворот, сворачиваем направо, неспешно плывем по улице, вдоль тротуара (и какая радость, если по тротуару идут в это время навстречу ребята с соседнего — враждебного — двора: «Ааа! — орем мы, потеряв разум. — Ээй! Дураки!»); Егорыч слегка поворачивает к нам голову и говорит хриплым, прокуренным голосом: «Щас высажу!»). Автомобиль снова берет направо, в переулок, и почти тотчас еще раз — мы объезжаем по прямоугольнику наш огромный двор, захвативший почти полквартала, теперь мы следуем по «задней» улице, мимо корпуса, где живет комдив. Здесь, на этой улице, всего интересней баня, если из нее возвращаются в недалние Покровские казармы красноармейцы: они шагают колонной, у них красные после парилки лица, на голове темно-зеленые суконные шлемы, похожие на богатырские, шинели с красными уголками петлиц на вороте туго перепоясаны ремнями, в руке у каждого белеет узелок с бельем. «Принять вправо!» — зычно приказывает командир (улочка узкая), колонна жметя к тротуару, пропуская нашу машину, мы видим, как красноармейцы с восторженным изумлением рассматривают красавец «линкольн» — вряд ли многим из них случалось кататься на легковом автомобиле, а на таком, на «линкольне» с никелированной собачкой на радиаторе, поспорить можно, никому не случалось, и мы, особенно если погода хорошая и верх откинут, напустив на себя равнодушный вид (нам, дескать, не привыкать), прищурясь, напряженно смотрим вперед, точно что-то выискиваем взглядом там, впереди, однако краем глаза успеваем схватить изумление и восторг красноармейцев, отчего наше торжество особенно полно и гордость уже совершенно распирает нас...

Надо сказать, что Егорыч пускал нас только на заднее сиденье, место возле него, на котором всегда ездил сам комдив, оставалось свободным, лишь Боре, если он отправлялся вместе с нами, разрешалось занимать его, и — тогда Боря, сидевший рядом с шофером и напряженно смотревший вдаль, становился главным действующим лицом прогулки, мы же, остальные, семь-восемь человек, кое-как теснящиеся на заднем диване, вдруг начинали ощущать неловкость, какую не испытывали, ходя пешком, вдруг становилось ясно, что эта автомобильная прогулка не более как оказанная нам милость и что все встречные понимают это, от этого делалось стыдно, и мы торопили время, всей душой желая поскорее оказаться опять у себя во дворе, и с неприязнью поглядывали на узкую, как у отца, Борину спину, так некстати оказавшуюся рядом с могучей спиной Егорыча, обтянутой истертой добела черной кожанкой, которую он не снимал ни зимой, ни летом. Боря, впрочем, редко садился с нами в машину: его укачивало; он рассказывал, что когда летом Егорыч везет его на дачу, то по дороге два-три раза останавливается — так сильно Боря тошнит; нам было такое не понять!..

Очертив квартал, мы наконец добирались до того места, откуда отправились в путь, до подъезда № 9 третьего корпуса — здесь на четвертом этаже недавно поселился комдив; все наше путешествие длилось от силы десять минут, но нам оно казалось необыкновенно долгим и далеким, да и теперь, когда я вспоминаю о нем, кажется мне таким, — может быть, оттого, что все впечатления на пути, и прежде всего сама езда на комдивовском «линкольне», все было ново, требовало для себя пространства. Даже в нынешних моих воспоминаниях является мне не улица «вообще», какой сделалась она для меня за истекшие с тех пор полвека, а выпирает навстречу каждым домом в отдельности со всеми его приметам, каждой подворотней и подъездом, каждой витриной и вывеской, чуть ли не каждым пешеходом, что попадался нам тогда, полвека назад, и на мгновение замирал, будто схваченный сработавшим зрачком фотоаппарата, при виде темно-синего плывущего вдоль тротуара чуда с никелированной собачкой на радиаторе...

«Шагом марш, не задерживайсь!» — командовал Егорыч своим хриплым голосом, он уже вышел из машины и нажатием сверкающей изогнутой ручки отворил нам дверцу. «Шустрей, шустрей!» — прикрикивал он, не повышая голоса и не изменяясь в лице, — лицо у него было круглое и плоское, как у каменной скифской скульптуры, как у нее степными ветрами, изъеденное оспой, впрочем, может быть, и теми же степными ветрами — тоже. Егорыч был вместе с комдивом на гражданской, на одной руке у него не хватало двух пальцев, и лоб был приперчен черно-зелеными пороховыми крапинами; Боря рассказывал, что это от взрыва гранаты, которую Егорыч подхватил у самых ног комдива и отбросил в сторону... «Шустрей!» — командовал Егорыч, и мы нехотя, один за другим, наступив на металлическую с вафельным узором подножку, соскакивали на землю — земля покачивалась под нами, мы чувствовали себя матросами, ступившими на берег после кругосветного плавания. Егорыч маленьким венником выметал из кабины пыль и песок, облетевшие с наших башмаков, с тряпкой в руке обходил автомобиль во круг, придирчиво его оглядывал, тщательно стирал всякое пятнышко, иногда предвзвительно плюнув на темно-синюю блестящую поверхность борта; закончив обход, он усаживался на свое место, клал руки на руль и, глядя перед собой, сидел неподвижно в ожидании, пока выйдет комдив.

Наверно, на полях гражданской комдив, лихой и стремительный, мчался на вороном скакуне, крутил в воздухе сверкающей стальной полосой шашки и рубил ею наотмашь, — я видел его совсем другого: всегда озабоченного — он шел от подъезда к машине, озабоченно опустив голову, напряженно думая о чем-то неотступном, узкая его спина озабоченно сутулилась, даже походка у него была озабоченная — поспешающая, точно он постоянно куда-то опаздывал, он шел нешироким легким шагом и ноги ставил как-то убористо, попадая одной в след

другой. Он носил длинную, командирскую, ладно пригнанную шинель, в петлицах красовались два ромба, и эти его ромбы были НАШИМИ ромбами, предметом всеобщей нашей ребячьей гордости. «А у нас во дворе комдив живет — два ромба!» — хвастались мы в классе, и было чем хвастаться; не у каждого во дворе есть свой герой гражданской, и не каждый имеет счастливую возможность ежедневно, если захочет, созерцать два ромба на чьих-то петлицах. «Врешь!» — иной раз скажет незадачливый собеседник, но и по лицу его, и по тому, как произносит он свое «врешь», сразу видно: знает, и прекрасно знает, что ты не врешь, просто не хочет признать поражения; у него, у одноклассника, в доме обитает, правда, военный летчик, но до нашего комдива, до его (до наших!) ромбов летчику далеко.

Особенно любили мы, когда в теплые дни комдив появлялся из подъезда без шинели, в гимнастерке — тогда мало что ромбы в петлицах, мы видели слева, над нагрудным карманом, привинченные два ордена: один — знакомый нам орден боевого Красного Знамени, другой — необычный, вытянутый овалом, — две скрещенные сабли, маленький алый флаг и золотая вязь непонятных букв; по Бориным словам, это был орден Красного Знамени Хорезмской республики, где комдив храбро сражался с басмачами. Орден в ту пору был редкостью, человека с орденом на груди повсюду окружали почетом, на улице ему смотрели вслед, в газетах писали: «колхозник-орденоносец», «летчик-орденоносец», «писатель-орденоносец», тем самым выделяя этих людей из массы просто колхозников, летчиков, писателей; в титрах фильмов ставилось: «артист-орденоносец», — и это было, конечно, совсем не то, что вообще артист. Наш комдив был не только комдив, но еще и «дважды орденоносец» (так тоже тогда писали).

Комдив садился в автомобиль рядом с Егорычем, едва разжимая серые губы, приказывал: «Поехали». Егорыч за козырек пониже натягивал на лоб кожаную фуражку, трогал рычаги, и машина бесшумно и плавно исчезала, оставив после себя медленно тающее в воздухе кольцо сизого дыма.

Боря, сын комдива, был мальчик хилый; он не сторонился наших игр, но, когда мы играли, как-то само собой оказывался в стороне: в прятки его тотчас находили; в казаки-разбойники ловили первого; если мы делились на команды, чтобы погонять на дворовой площадке футбольный мяч, его брали обычно в более сильную команду и ставили в ворота — считалось, что в сильной команде, которая будет нападать, он, стоя в воротах, принесет меньше вреда, а пользы от него не ждали, — но и в воротах, между двумя деревцами с побеленными стволами, Боря держался недолго. После первого забитого гола кто-нибудь из ребят говорил: «Ладно, поди посиди», — и он, ничуть не обижаясь, даже как будто радуясь, что не сам вышел из игры, а был выдворен помимо воли, вприпрыжку отбежал в сторону, усаживался на какое-нибудь бревно или ящик и с очевидным интересом и удовольствием наблюдал, как развиваются события на футбольном поле.

Он смешно бегал — как козленок, припрыгивал, подскакивал на ходу на своих длинных, тонких ногах с выпирающими коленями; когда мы, преследуемые дворником Афанасием и теснимые в битве с ребятами с соседнего двора, оказывались вынуждены спасаться бегством, Боря всегда оставался далеко позади — подпрыгивал, подскакивал, бессмысленно, не в лад бегу, размахивал руками, — впрочем, ни дворник, ни соседские ребята его не трогали, просто как бы не замечали. Мы относились к Боре ровно и доброжелательно, не потому только, что наше к нему отношение замешивалось на почтительном восхищении его отцом, хотя, конечно, не обходилось и без этого: Боря отличался необыкновенным миролюбием, никогда ни с кем не спорил, без всякого душевного усилия, с удивительной непринужденностью выполнял все, что от него требовали другие ребята, и всегда пытался делать то, что делают остальные, — правда, старания его редко увенчивались успехом: очень уж он был слаб и, я бы сказал, как-то физически несообразителен.

Лишь иногда, считано раз, точно какая-то пружинка в нем распрямлялась: он вдруг бледнел, топал ногой и сердито выкрикивал грубое слово — не ту брань, в которой все мы были сызмала изощрены, что-нибудь совсем наивное, «дурака» какого-нибудь или «черта», но в его неизменно вежливой речи и это звучало как удар, или, так же внезапно побледнев, хватал камень и что было силенок в тощих его руках швырял в обидчика, или бросался на него врукопашную и, яростно размахивая кулаками, пока не поистратит пыл, колотил воздух — в драку с ним не вступали, разве что оттолкнут легонько в сторону. В подобных случаях наш дворовый заводила Витька, по прозвищу Петух, а потому именовавшийся и в нашем и в окрестных дворах Петькой, мелкий ростом, но дерзко и отчаянно смелый (он потом утонул, переplывая на спор Москву-реку), Витька-Петька этот в подобных случаях вдруг охватывавшей Борю ярости неизменно с интересом его рассматривал, будто только что увидел впервые, и, утерев ладонью маленький, как пуговица, постоянно мокрый нос, изрекал приговор: «Он, Борька, вообще-то смелый, только руки жидкие». Здесь Витька-Петька подражал дворнику Афанасию: когда кто-нибудь из нас брался помогать ему мести двор или кидать деревянной лопатой снег в снеготаялку, высокий железный ящик на салазках, под которым разводили костер, Афанасий, мужчина огромной силы и неутомимого трудолюбия, сердито басил, подстегивая не поспевавшего за ним помощника: «У тебя что — руки жидкие?..»

Борину мать во дворе называли «персиянкой» — смугло-желтая, черные, резко очерченные полукружия бровей, прямые черные волосы, гладко причесанные и скрученные на затылке в большой тугий узел. У Бори волосы были не черные — темно-каштановые, подстриженные «под челку», «под пчелку», как выражался молодой красивый парикмахер Алеша, орудовавший в крошечной — одно кресло — парикмахерской на углу переулка, наискосок от наших ворот; этот Алеша, наружностью точь-в-точь великий наш поэт, как изображен он на известной гравюре «Пушкин в юности», не затрудняясь творческими поисками, стриг под эту самую «пчелку» все ребячье население нашего двора и всех близлежащих домов. При темных волосах и смуглости кожи Борины глаза поражали голубизной, от этой темноты волос и смуглости особенно яркой, — когда однажды, сядя в автомобиль, комдив, не поднимая озабоченно опущенной головы, вдруг взглянул на нас, сразу ясно стало, откуда у Бори эта голубизна: сияющие, прозрачно-голубые глаза комдива вместе со взглядом прямо-таки выплеснулись из-под век.

Во дворе комдив ни с кем не разговаривал, да и когда ему было разговаривать — глядя под ноги, сутуля узкую спину, он поспешающим шагом быстро проходил от машины к подъезду и через полчаса-час точно так же от подъезда к машине; в другое время его и не видели. Он и с нами никогда не вступал в беседу: приотворив переднюю дверцу и нащупывая ногой в длинном тонком сапоге металлическую вафельную ступеньку, что-то коротко говорил Егорычу, а уж тот, выждав невыносимо долгую минуту, за козырек потуже натягивал на лоб кожаную фуражку, поворачивал к нам плоское, рябое лицо и командовал хрипло: «Налетай!»

Напротив подъезда, где жил комдив, как было упомянуто, расположилась песочница, в ней день-деньской копошились малыши под присмотром бабушек и нянек, молодых и старых. Среди нянек находилась и Клавдия, или попросту, по-дворовому, Клавка, юная особа с такими пышными формами, втиснутыми в узкое платье с хозяйкиного плеча, что даже мы, ребятня, не проходили мимо нее равнодушно и обменивались между собой шуточками, подслушанными у взрослых парней. Неизменные внимание и успех, сопровождавшие Клавку на жизненном пути, сделали ее невоздержанной на язык и решительной в поступках. Однажды под вечер она сидела, лениво развываясь, на могучей садовой скамье (выкрашенные в зеленый цвет трехдюймовые доски на тяжелом чугунном основании) и делилась планами будущей, исполненной всяческого благополучия жизни с бабой Машей, маленькой

старушкой, главной дворовой сплетницей, обитавшей на первом этаже в том же подъезде, где и наш комдив; между тем ребенок, порученный Клавкиному уходу, ползал у ее ног и возводил грандиозное здание из влажного оранжевого песка, только нынешним утром завезенного дворником Афанасием. Свою лопатку ребенок в порыве увлечения отбросил далеко в сторону, Клавка заметила непорядок, но очень уж не хотелось ей поднимать с приземистой, удобной скамьи свое большое тело; тут на беду из подъезда появился Боря, и девица, привыкшая к беспрекословному повиновению особ противоположного пола, громко ему сказала: «Эй, барчук, подай лопату!» Возможно, она произнесла это без злого умысла, но слово было сказано — Боря вдруг побледнел, взвизгнул, подпрыгивая, подбежал к песочнице и принялся исступленно топтать ногами постройку, над которой старался доверенный Клавке ребенок. Ребенок протяжно заголосил. Клавдия рассердилась, сползла со скамьи, шагнула к Боре и, нимало не задумываясь, с размаху вlepила ему звонкую пощечину. Мы и сообразить-то ничего не успели, потому что именно в это мгновение рядом с нами оказался темно-синий «линкольн», передняя его дверца стремительно распахнулась, комдив выскочил из машины, плечи его распрямились, в бешеных глазах металась голубизна. «Не сметь!» — закричал он; не знаю, громко закричал или не очень, это был какой-то особенный крик, точно снаряд просвистел над головой и взорвался неподалеку, и вокруг вдруг возникла звенящая пустота. Я почувствовал, как колени у меня сделались ватные, а комдив еще раз закричал: «Не сметь!», — и новый снаряд пронесся над нашими головами; комдив схватил сына за руку, дернул его так, что Боря едва не упал, и, таща его за собой, шагнул к подъезду. Дверь хлопнула, и, наверно, лишь минуту спустя в повисшей над двором звенящей тишине тонко завывала Клавдия.

Дома у комдива никто из нас не бывал, и все-таки мне довелось однажды: Боря болел и, высунувшись на балкон, попросил меня занести ему какую-то книжку. Я в момент через ступеньку одолел четыре этажа и остановился перед дверью, мне знакомой, — вместо электрического звонка в нее был сделан кем-то из прежних, давно сменившихся хозяев квартиры старинный бронзовый кружок с ключиком посредине и резной надписью по кругу: «Прошу крутить» — вы крутили ключик, и он, цепляясь за какие-то зубчики или пластинки, издавал мелодичный стрекочущий звук.

До недавних пор, когда в квартире поселился комдив, здесь ненадолго обособилось семейство немецкого специалиста, эти специалисты («спецы») были приглашены к нам, чтобы помочь наладить разрушенное хозяйство; «спец» привез с собой жену и сына, вихрастого белокурого мальчика в очках на веснушчатом носу; мальчик ходил в клетчатой рубаше и брюках-гольф на манжетах, застегнутых под коленями. Мальчика звали Григо. Впрочем, может быть, это была его фамилия, но в первый же день по приезде он выбежал во двор и стал радостно знакомиться со всеми: «Здравствуй, — говорил он, — гутен таг!» — тыкал себя пальцем в грудь и представлялся: «Григо», — имя к нему и прицепилось. Григо был на редкость смешной парень, особенно веселило нас, что, кроме Ленина и Сталина, он никого из наших не знал в лицо, да и не слышал почти ни о ком, — страница за страницей он, морща веснушчатый нос, чтобы поправить сползавшие очки, рассматривал наши школьные учебники, долго вглядывался во всякий портрет, потом поднимал глаза от книги и, кто бы ни был там изображен, Пушкин или Шота Руставели, герой революции или один из вождей, непременно спрашивал: «Хороший человек?» — «Хороший! Хороший!» — дружно орали мы, хохоча во все горло. Скоро Григо уехал из нашего дома, то ли нам услуги «спецов» больше не понадобились, то ли свои их отозвали обратно, и они возвратились в Германию. (Где ты, радостный мальчик Григо? Жив ли? Не выпала ли тебе участь в сорок первом снова отправиться в Москву, и не на этом ли пути нашел ты последнее пристанище?..)



Я покрутил ключик, мне отворила дверь Борина мама; дома она не была похожа на персиянку, несмотря на черные волосы и смуглое лицо: на ней были очки, обыкновенные очки, в проволочной оправе, как тогда носили; эти очки ужасно меня удивили — так они не шли к ней, она, видимо, и сама знала это, — пропуская меня в прихожую, сразу их сняла и сунула в карман белой вязаной кофты.

«А я тетради проверяю, я ведь училка, преподаю немецкий язык, только не детям, а взрослым, в военной академии, красных командиров учу немецкому языку...» Она говорила быстро, частила словами, это было неожиданно, как очки: по двору она всегда проходила молча, ни с кем не останавливаясь и не заговаривая, отчужденно и недоступно.

«Ну, прежде всего, здравствуй. Как тебя зовут? А меня Лидия Прокофьевна. А я терпеть не могу кофе. Пью только чай, с утра до вечера. Борька называет меня Лидия Прочаевна». — Я понял, что это у них такая шутка, что это она меня смешит, но не засмеялся. Огорошенный ее торопливой речью, я растерянно стоял перед ней и протягивал принесенную для Бори книгу. «Ну что ж ты, проходи вон туда, к Борьке, я его в постель загнала, совсем простужен и все норовит на балкон. Ну, что ж ты стоишь? Он тебя ждет. А я пока чай поставлю. Будем чай пить». Тут, на мое счастье, появился Боря в серой домашней фланелевой курточке, в трусах, в валенках на босу ногу, хотя на дворе стоял теплый сентябрь; шея у Бори была замотана синим шерстяным шарфом. Боря взял меня за руку и повел к себе.

Квартира комдива поразила меня пустотой. Быт наш в ту пору был убог и труден, и именно поэтому перегружен вещами. Всякая вещь казалась необходимой, оттого что доставалась тяжело — негде было достать и не по карману, всякая вещь служила долго и после долго береглась в расчете на то, что, глядишь, еще послужит — можно будет ее починить, переиначить, приспособить к чему-то. Наши шкафы, буфеты, комоды, кладовки, сундуки, шкатулки наполнились старой одежей, сношенной обувью, ломаной мебелью, битой посудой, бутылками и флаконами, картонными и жестяными коробками из-под разного товара и прочей вроде бы уже непригодной в обиходе, но на всякий случай отложенной про запас утварью — иной раз роешься без спросу в старинном бабушкином комоде, темным утесом занявшим половину прихожей, и в каком-нибудь ящике, куда припрятаны дамская сумочка со сломанным замком и оторванной ручкой, прохудившиеся на пальцах перчатки, связка ключей от уже несуществующих замков, вдруг счастливая находка — часы-ходики, лет десять как переставшие отмерять непрерывное течение времени; выковыряешь из недвижимого механизма одно-другое золотистое зубчатое колесико — и правда, великая ценность: ребята во дворе голову потеряют от зависти.

Быт наш в ту пору был стеснен, заставлен вещами, квартира же комдива гляделась нежилой, свет лился в окна и, не спотыкаясь о мебель, ровно растекался по комнатам, ясно озарял почти ничем не заставленные, от пола до потолка открытые взгляду и от этого казавшиеся очень высокими стены, пространство пола широко раскинулось под ногами, и я вдруг впервые заметил красоту светлого дубового паркета, — такой же был и у нас, но поди разгляди его, пробираясь боком между столом, кроватью и буфетом.

У комдива мебели почти не было: в Бориной комнате узкий кожаный диван, легкая этажерка — наверху книжные полки, внизу — закрытые, вроде маленького шкафчика с дверцей; в столовой застеленный клеенкой квадратный стол, на нем с одного края высилась стопка тетрадей, стояла белая фарфоровая чернильница-непроливайка, лежали ручка и красный карандаш: Лидия Прокофьевна-Прочаевна (а ведь и в самом деле смешно, я не сразу понял, как смешно, — молодец Боря!) — Лидия Прочаевна проверяла здесь работы своих учеников, красных командиров; в углу застеленный красным восточным ковром матрас на деревянных ножках, из-под которого высовывался огромный чемодан с ремнями и пряжками.

«Ну, вот и чай! — Лидия Прокофьевна принесла из кухни белый жестяной чайник: на ней снова были очки в проволочной оправе, которые так не шли к ее красивому смуглому лицу, но она, видно, забыла про них и уже не замечала, — Борька, усаживай гостя, я сейчас чашки поставлю, печенье сегодня хорошее достала, в кондитерской, знаешь, на углу, где парикмахерская...» Я хорошо знал эту кондитерскую, мама иногда давала мне немного мелочи, и я отправлялся туда покупать крошки — эти крошки оставались в плоских ящиках из-под пирожных, когда пирожные бывали проданы, — ими торговали на вес, особенно ценились крошки от наполеона — сладкие, тающие во рту чешуйки, пересыпанные сахарной пудрой.

— А, — засмеялась Лидия Прокофьевна, когда я сказал про крошки, — губа не дура, язык не лопатка, знает, где сладко. Но мне тоже повезло — смотри — из бумажного пакета она вытряхнула в стеклянную мисочку печенье, круглое, похожее на большие ромашки с белой и розовой глазированной сердцевинкой.

— Ты, Борька, хоть бы развлек гостя, ну что ж ты такой неумеха, — зачастила Лидия Прокофьевна, когда чай был выпит, а печенье съедено. — Ну, покажи ему наши фотографии, такие хорошие фотографии, особенно на Дальнем Востоке. Ты не был на Дальнем Востоке? Как мы там хорошо жили, как весело, правда, Борька? Я так не хотела уезжать оттуда...

Я удивился: на Дальнем Востоке я не бывал и, как всякий мальчик, конечно, мечтал о путешествиях, о неведомых краях, но при этом был уже уверен, что все люди на свете в конечном итоге хотят приехать в Москву и поселиться в ней. Боря принес альбом, мы уселись на застеленный красным с узорами ковром матрас и начали его рассматривать.

Ах, что это были за фотографии! У нас дома тоже имелся альбом, вечерами я любил его перелистывать. «Мама, кто это?» — «Это бывший папин директор, он теперь в Воронеже. А это мой приятель, еще по Харьков, когда я училась на женских курсах...» Папины и мамины знакомые, сослуживцы, родственники... Вот папа у себя в больнице — человек восемь мужчин и женщин в белых халатах сидят перед витриной с муляжами и диаграммами. Вот мы с мамой и бабушкой на даче — устроились на завалинке низкого ветхого домика, который снимали летом. А вот снова мы же, только в палисаднике, у куста цветущей сирени, мы с бабушкой целиком, а мама без головы, голову она вырезала, когда понадобилась фотокарточка для сезонного билета. Только теперь, держа на коленях Борин альбом, я осознал, какими пустячными, какими обыкновенными снимками был заполнен наш. У нас мужчины в скучных пиджаках, рубашках с галстуками, вышитых сорочках, в серых косоворотках, выглядывающих из-под пиджака, — у Бори сплошь гимнастерки и шинели, остроконечные шлемы и фуражки со звездой, сапоги со шпорами, сабли в ножнах, маузеры в деревянной кобуре. Едва не на каждой странице я останавливался, чтобы перевести дух: да ведь это Щаденко, один из главных командиров Первой Конной, — мне лицо его знакомо по портретам. А это Ока Городовиков, тоже герой-кавалерист, маленький, с раскосым калмыцким лицом и огромными, больше чем у самого Буденного, усами; однажды наш класс водили в Детский театр, и там на спектакле присутствовал Городовиков, в антрактах мы и в буфет не бегали пить лимонад, крутились вокруг него в фойе, чтобы увидеть его ордена, его ромбы — по четыре в каждой петлице! Но в Борином альбоме — потому и дух захватывало — Ока Городовиков из недосягаемого, легендарного героя превратился почти в моего знакомого: вот он, Ока Иванович, держит под уздцы коня, а рядом, тоже с конем на поводу (конь, похоже, правда вороной — на любительском снимке не поймешь) стоит наш комдив.

«А это кто?» — спросил я: на фотографии был запечатлен Боря в белой рубашке с большим командирским биноклем на груди, по одну сторону от него стоял отец, а по другую — кто-то удивительно знакомый, — я не мог вспомнить, — с тремя

ромбами и тремя орденами Красного Знамени. «Это кто?» — спросил я, заранее замирая от имени, которое сейчас услышу. Боря, кажется, собрался ответить, но в эту минуту Лидия Прокофьевна приблизилась к нам и, положив руку на плечо Боре, склонилась над альбомом. «Кто это?» — переспросил я нетерпеливо и вдруг ясно увидел, как тонкие желтоватые пальцы Лидии Прокофьевны крепко — я почувствовал, что до боли крепко, — сдавили Борино плечо. Боря побледнел и отвечал: «Не знаю».

Я просидел в гостях, наверно, около часа, когда в прихожей металлически зазвенел звонок. Лидия Прокофьевна сдернула очки и побежала открывать: комдив приехал обедать. Я понял, что мне пора восвояси, но Боре скучно было одному, он не хотел меня отпускать и потащил к себе играть в шахматы. Прежде чем отправиться обратно на службу, комдив появился в дверях Бориной комнаты, с порога, остро прищурясь, кинул взгляд на доску — Борино положение было безнадежно. «Дружишь с Борисом? — обратился он ко мне, никак меня не называя и не спрашивая моего имени, — он парень хороший. Слабый только. Болеет. Это от климата. То Средняя Азия, то Кавказ. То Дальний Восток». Голос у комдива был жесткий, почти без оттенков, слова он произносил коротко, четко останавливаясь на знаках препинания. «Ты ночью мне звони, каждые два часа звони, я все равно не сплю, я волноваться буду», — из прихожей говорила ему в спину Лидия Прокофьевна. «Ночью надо спать», — комдив едва заметно улыбнулся тонкими серыми губами и весело подмигнул нам с Борей, обжигая меня голубизной глаз. Он небрежно взял под козырек и вышел, притворив за собой дверь Бориной комнаты...

Сначала исчез Егорыч. Однажды вместо него мы увидели за рулем «линкольна» долговязого рыжего парня в сером плаще — на груди аккуратно заправленное под отвороты белое шелковое кашне. Парень делал вид, что читает газету, на самом же деле, развернув ее перед собой, не отрываясь, косился на Клавдию, расположившуюся на любимой скамье против комдивова подъезда и, конечно же, привлекая внимание новичка своими неотразимыми формами. Клавдия тотчас это заметила и ради кокетства раскрыла над головой черный хозяйский зонтик, хотя дождя не намечалось. «Дядь, прокатишь?» — подступился к незнакомцу наш заводила Витька-Петух, чаще именуемый Петькой. «А по уху не хочешь?» — неласково отозвался новый шофер. Витька-Петька отодвинулся на несколько шагов от машины, провел ладонью по мокрому носу и крикнул: «Рыжий-красный — цвет опасный! Клавка, с рыжим дружбу не води, в лес поманит — не ходи!..» Рыжий, сердито комкая, отложил газету: «А ну уматывай!..» — он гадко выругался, несмотря на пижонский вид. Витька-Петька тоже рассердился: «Заткнись, а то кирпичом!..» — заорал он во все горло и бросился на задний двор; бегал он так быстро, что рыжий, если бы и захотел, даже на «линкольне» не догнал.

Так закончились наши путешествия на машине комдива — зато по-прежнему ежедневно, цокая подковами по асфальту, появлялась во дворе серая спокойная лошадка, запряженная в плоскую телегу-платформу на надувных автомобильных колесах: лошадка привозила товары в домовую лавку, размещенную в полуподвале одного из корпусов. Пока возчик перетаскивал вниз коробки и ящики, мы успевали сбегать домой за ломтем хлеба, а кто изловчился, и за куском сахара — лошадка вежливо брала с ладони еду, губы у нее были мягкие, с редкими длинными волосками. Возчиков было двое. Один, старый, с бородой, на возвратном пути брал нас в телегу и вез до ворот; другой, помоложе, без бороды, нипочем не разрешал к себе садиться, когда же мы догоняли телегу и на ходу пытались взобраться в нее, сердито взмахивал кнутом, щелкал им и всячески делал вид, что сейчас огреет; мы бежали следом до ворот, то цепляясь за край телеги и повисая на ней, то соскакивая на землю и отбегая в сторону...

Прошло еще две или три недели — исчез и «линкольн»: не приехал вовсе. На-завтра я вернулся из школы, Витька-Петька заговорщицки поманил меня на задний двор, мы втиснулись в узкую потаенную щель между дворником сараем и похожей на огромную полукруглую печь каменной помойкой, здесь, в сумрачной, пропитанной запахами отбросов теснине, специально предназначенной для сообщения важнейших секретных сведений, Витька-Петька объявил мне, что комдив наш — нет, уже не наш! — враг народа и арестован. «Что ты, Петька! — заспорил я, хоть и не сомневался, что он говорит правду: враги были повсюду. — Я у них сам видел. Он с Щаденко. С Городовиковым...» — «Прикидывался! — убежденно сказал Витька-Петька и хлюпнул маленьким, как пуговица, носом, — все они прикиды-ваются...»

Под вечер Боря вышел из подъезда с помойным ведром и, ни на кого не глядя, направился на задний двор. «А ну, иди сюда!» — подозвала его Клавдия, восседавшая на своей скамье, когда он возвращался обратно. Боря побледнел, поставил ведро на землю и подошел к ней. «Что? Где теперь папаша твой? — чтобы все во дворе слышали, загорланила Клавдия, ворочаясь на скамье, потому что не могла сразу стать на ноги, — где, говорю, папаша твой? Был, да сплыл!» — «Не смей!» — тихо сказал Боря. — «Ах ты, вражье отродье! — Клавдия уже прочно стояла на ногах, — и он туда же! Не смей!» Она размахнулась и толстой белой рукой ударила Борю по лицу. Боря не шелохнулся, только еще сильнее побледнел и смотрел ей прямо в глаза своими голубыми глазами. Мы толпились тут же, на другой стороне песочницы: ноги у меня сделались ватными; никто из нас не тронулся с места; мы молчали. «Не смей!» — разжигая себя, насмешливо повторила Клавка и опять ударила Борю по лицу, раз и другой. «Не трожь дитя, кобыла!» — высунувшись в форточку, напустилась на нее сплетница баба Маша с первого этажа. Боря взял ведро и тихо, не хлопнув дверью, скрылся в подъезде...

За ужином мама сказала: «Ты не ходи к Боре в гости, не надо...» — хотя в гостях у Бори я был лишь однажды, и когда рассказал об этом дома, мама вроде бы очень была довольна и, улыбаясь, выпрашивала у меня, что там у комдива и как. Я покорно и понимающе кивнул головой. «Возмутительно!» — папа сердито взглянул на маму, отодвинул задребезжавший стакан с недопитым чаем и вышел из-за стола.

Больше мы Борю не видели. Он и Лидия Прокофьевна исчезли так незаметно, что во дворе не сразу и сообразили, что их уже нет. Боря ни с кем не простился.